

Ступай и не греши

Автор:

Валентин Пикуль

Ступай и не греши

Валентин Саввич Пикуль

«Ступай и не греши» – короткий роман, в основу которого положено нашумевшее в 1890-е годы дело об убийстве симферопольской мещанкой Ольгой Палем своего любовника.

Валентин Пикуль

Ступай и не греши

Я не только не имею права,

Я тебя не в силах упрекнуть

За мучительный твой, за лукавый,

Многим женщинам сужденный Путь.

Александр Блок

ОТ АВТОРА

Прошлое навсегда погребено на гигантском кладбище того же прошлого, которое мы так редко теперь навещаем.

Однако мне, живущему там, откуда еще никто не возвращался, намного легче перемещаться в пространствах времени, и потому в былой жизни России я имею немало хороших знакомых. Но среди великого множества женщин, платья которых давно и ликующе отшумели, одна уже много лет тревожит мое хладеющее воображение. Вот и сегодня – «встала из мрака молодая с перстами пурпурными...».

Так уж получилось, что после изнурительных и долгих сомнений – писать или не писать, забыть или вспомнить? – я начинаю эту вещь именно 8 марта, который не ахти как волнует наших жен, зачастую униженных, оскорбленных и разгневанных, ибо их жизнь складывается совсем не так, как о ней мечталось.

Но сначала я вынужден побывать в Ницце, и, конечно, из потемок памяти сразу всплывают незабвенные строки:

О этот юг, о эта Ницца!

О как их блеск меня тревожит...

С давних времен в Ницце существовал отель-пансионат по названию «Родной угол», устроенный мадам М. М. Соболевой близ приморского променада; здесь к услугам заезжих была русская кухня с русской же прислугой, хорошо подобранная русская библиотека.

Летом 1923 года «Родной угол» приютил двух эмигрантов – пожилого и молодого. Блистательный и фееричный Санкт-Петербург – парадиз великой империи – для них уже навсегда растворился в непознаваемом отчуждении, и оба оставались равнодушны к ароматам цветов в роскошном, но чужестранном саду.

Радостных эмоций меж ними не возникало.

– Трагедия в том, – рассуждал пожилой, – что отныне в России право заменили указами. А роль адвоката, как защитника слабых, низведена до роли ассистента палача, обеспокоенного лишь качеством веревки. Интерес к юридическим

правам личности низведен до ничтожного уровня, а мы – витии прошлого! – уходим в небытие с гнусным клеймом «платных наемников буржуазии». О чем тут говорить? Интеллигенция на Руси никогда не была сословием, но сейчас ее сделали «прослойкой», обязанной покорно признавать идейное превосходство победившего пролетариата, который отныне почитается главным знатоком классовой борьбы. Нет, милый Сережа, в этой России, порождающей робеспьеров и маратов из разино-пугачевского наследия, мои эмоции никому не нужны... Будем помирать в «Родном углу»!

Так говорил Николай Платонович Карабчевский писателю Карачевцеву, желавшему побыть при нем в роли известного Эккермана. Понуждая старика к откровенности, он даже не скрывал, что собирает материал для книги о нем. Да, еще недавно Карабчевский был очень знаменит – оратор и писатель, поэт и адвокат, Николай Платонович всю жизнь считал, что нет выше звания присяжного поверенного, и в 1917 году Керенский напрасно соблазнял его званием сенатора. Карабчевский отказался.

– Нет уж! – сказал он. – Я желаю умереть в первых шеренгах лейб-гвардии российской адвокатуры – именно столичной...

На громогласных лирах старой адвокатуры было натянуто немало певучих струн, и каждая мощно звучала: присяжных поверенных знали на Руси как писателей, публицистов, драматургов, психологов и даже актеров. Карабчевский эмигрировал, когда уличная толпа сожгла здание столичного суда – не стало храма судебных реформ, значит, не нужны и жрецы справедливости.

Теперь, затворенный в «Родном углу», Николай Платонович печально воскрешал в памяти те громкие процессы, в которых когда-то блистало его имя. Сергей Карачевцев торопливо записывал, неожиданно вспомнив женское имя – Ольга Палем:

– Что вы можете сказать о ней?

Николай Платонович заметно оживился.

– Я глубоко убежден, – отвечал он, – что каждая женщина хотя в душе и раннее нас, мужчин, но она и намного терпеливее нас, мужчин. Особенно в те периоды своей жизни, когда она любит. В этом я убежден. Женщина может сносить от

любимого человека многие обиды и оскорбления, она способна очень многое прощать. Но... пусть мужчины не обольщаются!

Он замолк. Карачевцев осторожно напомнил:

- Продолжайте... Как мне понимать вас?

- А так, юноша, и понимайте. Женщина прощает почти все мужчине, которого она любит. Но в ее любви имеется очень опасный предел. Тогда женщина как бы «взрывается». И, взорвавшись, она обязательно отомстит. Рано или поздно, но - отомстит! Я думаю, - заключил Карабчевский почти торжественно, - женщина имеет на эту месть природное право...

- Мне позволено так и записать? - спросил биограф.

- Да, так и запишите. Пусть знают все. Надо ценить женщин. Надо беречь женщин. Надо уважать женщин, имевших несчастье полюбить мужчин, недостойных большой женской любви...

Через два года после этой беседы Карабчевский угас, и его прах был предан земле на отдаленном кладбище Рима, уже тогда заброшенном. Так завершилась жизнь человека, о котором наши историки теперь начинают вспоминать.

Конечно, читатели вправе спросить меня, почему я назвал свой роман «бульварным»? Отвечу. Вся жизнь я писал военно-политические романы, но критики упрямо именовали меня «бульварным» писателем. И чем больше становился накал патриотизма в моих исторических романах, тем настойчивее блюстители порядка обвиняли меня именно в «бульварщине».

Наконец я понял, что угодить нашим литературно-газетным Зоилам можно лишь одним изуверским способом - написать воистину бульварный роман, дабы их мнение обо мне, как о писателе, полностью подтвердилось. Заодно уж я, идущий навстречу своим критикам, щедро бросаю им жирную мозговую кость...

Я писал эту вещь на примере исторических фактов столетней давности, но думается, что вопросы любви и морали в прошлом всегда останутся насущными и для нашего суматошного времени.

1. «Я ЖИЛ ТОГДА В ОДЕССЕ ПЫЛЬНОЙ»

Господа присяжные заседатели!.. В обстановке довольно специфической – трактирно-петербургской, с осложнениями в виде кружки Эсмарка на стене и распитой бутылки дешевого шампанского на столе, стряслось большое зло. На грязный трактирный пол ничком упал молодой человек, подававший самые блестящие надежды на завидную карьеру...

Н. П. Карабчевский. «Речи».

Но один из старожилов этого города высоко оценивал даже легендарную пыль: «Прежняя одесская пыль была не такую, как ныне – она была благоуханной, как пыльца цветов. Море, степи, акации были причиной ее аромата». Этот же мемуарист здраво мыслил, что даже солнце светило одесситам совсем иначе: «О доброе старое одесское солнце! – восклицал он. – Где ты? Куда сокрылось? Теперь восходит какое-то бледное светило, но это вовсе не то, что было раньше...»

Сто лет назад Одесса, извините, все-таки была веселее и наряднее; ее улицы и площади хранили святость исторических названий; памятники тоже оставались незабываемы, на их пьедесталах красовались тогда совсем иные герои – не те, что разрушали, а те, которые Одессу создавали. Кстати уж, оставив в стороне Потемкина, Ришелье, Ланжерона, Дерибаса и Воронцовых, я вам напомню, что Одесса славилась не только босяками с Куликова поля, не одними тряпичниками с Чумной горы. В разное время здесь проживали последний в России граф Разумовский, неаполитанская королева Каролина, из Одессы вышла барышня Наталья Кешко, занявшая престол Обреновичей, наконец, одесситы не забывали и знаменитого Джузеппе Гарибальди.

На улицах звучала речь греков, французов, итальянцев, болгар, евреев, турок, цыган и... попросту одесситов, считающих, что все неодесситы должны им завидовать. Одесса жила с торговли, почему и процветала в небывалом довольстве, для нас уже недостижимом. Люди победнее шли на Толкучку, а длинная череда роскошных магазинов на Александровской приманивала зажиточных изделиями Парижа. Кажется, одесситы умудрялись торговать со всем миром: колбаса у них из Болоньи, коровье масло из Милана, сушеные

каштаны из Сицилии, баклажаны завозили из Турции, итальянские спагетти ели обязательно с пармезаном, а на Греческой улице источали аромат апельсины, доставленные из арабо-еврейской Яффы...

Все было умопомрачительно дешево – настолько дешево, что заезжие думали, будто одесситы торгуют себе в убыток. А толстые торговки в белых передниках зазывали покупателей:

– Клянусь счастьем своих детей, которых у меня семеро, клянусь и здоровьем своего единственного мужа, что лучше бычков нигде не бывает. Берите хоть даром и потом будете рассказывать гостям, что однажды в жизни вам здорово повезло!

В дни семейных или табельных праздников было принято обмениваться кулебяками, словно визитными карточками: если вкусная кулебяка – значит и человек хороший, с таким можно вести дело. Славился и одесский квас, который одесситы потребляли сразу по две кружки: первую для утоления жажды, а вторую – чтобы поговорить о достоинствах кваса. Заодно уж сообщу и такую подробность из старого быта Одессы: женщины по базарам с кошелками не шлялись, с утра пораньше на базар ходили только мужчины, а их жены сладостно дремали в блаженной истоме, преследуемые лирическими сновидениями.

Чувствую, назрела суровая необходимость рассказать кое-что об одесских женщинах. Нигде в России тогда на бабах еще не ездили, ибо до эмансипации не дожили, но в Одессе, между нами говоря, такое случалось. Однажды на балу составили «тройку» три замечательные одесситки: русская купчиха Агафья Папудова, красавица-гречанка Артемида Зарифи, еврейка Розалия Бродская, а погонял их немец по фамилии Гире. Интернациональная дружба, как видите, процветала! Здесь уместно сказать, что одесские женщины легкого флирта не признавали, а если влюблялись, так серьезно и надолго – как говорится, «напропалую» или «позарез».

Это качество заметно отличало их от одесских мужчин, которые, будучи намного слабее женщин духом, влюблялись ежемесячно, а в случае первой же неудачи грозили дамам застрелиться, но свое решение почему-то откладывали до следующего романа (а заодно и до ближайшего получения жалованья).

Еще была одна несообразность, понятная только одесситам, но чего никак не могли освоить жители иных городов великой империи. Обычно за честь жены вступается муж, не подпуская любовника к своей жене, но в Одессе все было наоборот: там любовник, завладев чужою женою, всеми силами отбивал ее от претензий мужа и стоял на этом крепко и нерушимо, как часовой на охране неприкосновенных рубежей...

До «конца света» оставалось жить совсем недолго!

Астрономы тогда предсказывали, что на самом исходе XIX века, в ноябре 1899 года, выпадет обильный «звездный дождь», который испепелит нашу планету и все живущее на ней. Новость, конечно, не очень-то приятная. Одни заранее транжирили свои деньжата, ибо все равно погибать, а другие кубышек своих не трогали, рассуждая вполне разумно:

– От этих ученых добра не жди, одни пакости! Видят же гадючьи души, что мы живем и наслаждаемся, вот и решили настроение нам испортить... Я за себя не ручаюсь! Если попадется мне какой звездочет, излуплю его так, что у него у самого звезды из глаз посыплются.

.....

«Итак, я жил тогда в Одессе...» Не сегодня жил, а сто лет назад – прошу читателя это учитывать.

На исходе прошлого века Одесса наблюдала вымирание исторических персон, которых еще успела побаюкать Екатерина Великая на своих пышных коленях. Среди жителей встречались престарелые ворчуньи, давшие в юности зарок не выходить замуж на том веском основании, что им довелось танцевать с самим Пушкиным.

Близилось время Соньки Золотой Ручки, предвосхитившей появление Миши Япончика и литературного Бени Крика, а по улицам Одессы еще блуждали тени людей, которые нельзя было назвать загробными. На покое доживали свой век и те, что были косвенно повинны в гибели великого поэта. Граф Александр Строганов, уже готовый отметить столетие своей жизни, носил эполеты с вензелями Александра I, руки никому не подавал, а корреспондентов отпугивал слишком выразительно:

– Брысь, скнипа! Моего папеньку воспел еще Байрон в своем «Дон-Жуане», а ты... брысь, ты еще не Байрон!

Под стать ему была знаменитая Идалия Полетика, до самого смертного часа не изменившая своей закоренелой ненависти к поэту. Эта мегера даже собиралась ехать в Москву, чтобы публично оплевать (!) опекушинский памятник Пушкину на Тверском бульваре. Идалия умерла раньше Строганова, а сам Строганов, услышав призыв Харона, нанял пароход, загрузил его тоннами семейных бумаг и весь архив утопил в открытом море. Там было много такого, что могло бы переиначить некоторые акценты в истории нашего государства, но... Как объяснить этот дичайший вандализм графа – этого я, простите, не знаю!

Не лучше ли нам поговорить на иную тему?..

Сто лет назад по улицам Одессы еще блуждали итальянцы-шарманщики, а в саду Форкатти вырывались из оркестровых «раковин» мелодии Верди, Россини и Доницетти. Одесский театр, воспетый Пушкиным, после пожара 1873 года являл обгорелые руины; на фоне этих руин фокусник-левантиец зазывал прохожих глянуть в подзорную трубу, проходящую через его живот, и любопытные, оплатив показ, плевались:

– Нашел что показывать! Мы и не такое видывали...

Одесса издавна любила знаменитости, которые считали честью здесь гастролировать, но одесситы любили и крайности. Если великий Паганини играл на одной струне, то в Одессе успешно выступал танцор Донато, виртуозно плясавший на единственной ноге, благо вторая у него отсутствовала. Любимцем публики был и клоун Таити с «ученой» свиньей, которую наши добры молодцы купили за 10 000 рублей и сожрали ее под выпивку, сами ученостью свиньи не обладая. Одесса, конечно, смеялась.

А скажите вы мне – когда не смеялась Одесса?

Но в ее веселье иногда вторгались и трагические моменты, связанные с переменой начальства. Худо стало, когда пост градоначальника занял контр-адмирал П. А. Зеленый, возвестивший о своем появлении почти по Салтыкову-Щедрину:

– Да, я – Зеленый, но и вы скоро все позеленеете!

Матерщинник был страшный, слова не мог сказать без подробнейших комментариев на тему, всем нам известную по живописи на заборах. Но, воздадим ему должное, Зеленый строго следил за нравственностью одесской прессы, особо преследуя перенос на другую строку слова «лейтенант», чтобы призывное и внятное «лей» не писалось отдельно от жалкого «тенанта»:

– Крамола, мать вашу за ногу и так далее!..

Зеленый пользовался колоссальным авторитетом. Даже очередь перед банком, жаждущая получить пенсию, дружно разбегалась при виде своего любимого градоначальника, быстро «зеленея» от его вида. Адмирал был непримирим и в борьбе с проституцией, для чего по ночам лично распугивал невинных девиц, порскавших в разные стороны, словно тараканы, застигнутые ярким светом. Однажды и супруга отважного адмирала, возвращаясь пешком из гостей, случайно попала в облаву, принятая мужем в темноте за даму легкого поведения:

– Ах ты, курва старая! – зарычал он во мраке. – Под арест ее, чтобы постыдилась...

Сие было исполнено. Уж как она, бедненькая, отбивалась, уж как она клялась... Зато и хохоту же было в Одессе!

Для любителей таинств «полтергейста», столь модного сейчас в нашей могучей державе, сообщаю: сто лет назад в Одессе сами по себе передвигались шкафы, стулья отплясывали веселого гопака, по ночам свечи гасли и снова вспыхивали более ярким пламенем, а по комнатам невест, застывших в трепетном ожидании, тихо плавали скомканные бумаги с непонятными письменами.

В старых домах, где заводилась нечистая сила, полиция заколачивала окна и двери, чтобы нахальные призраки не вздумали шляться по улицам.

Впрочем, босяки, воры и голодранцы умудрялись проникать в такие дома, устраивая в них убежища для ночлега, и дружно распивали там водку. Думаю, они даже чокались кружками с явлениями потустороннего мира!

Надеюсь, читатель, для преамбулы этого достаточно.

Примерно такой была одесская жизнь сто лет назад, обозначенная мною лишь слабым пунктиром...

2. «ШТУЧКА» ГОСПОДИНА КАНДИНСКОГО

Одесса уже пробудилась, день обещал быть жарким, когда околоточный надзиратель Пахом Гориллов приступил к исполнению служебного долга, издревле почитаемого священным. Для этого ему следовало, взирая начальственно, а поступь имея уверенную, обойти свои законные владения, дабы высмотреть непорядок – и указать, и распушить, и проследовать далее, чтобы обыватели участка себя не забывали, а его тоже вовек запомнили, как помнят на Руси отца родного.

С такими-то вот благородными намерениями Пахом Гориллов начал свою ежедневную одиссею, деликатно погромыхая шашкою и скромнейше посверкивая лучезарными сапожищами. Солнце восходило к зениту, и душа околоточного ликовала, слыша, как поют птахи небесные, а близ лошадиного водопоя так благостно и так душевно скандалят ломовые извозчики. Пахом Гориллов начинал обход участка от поля Куликова, так что слева зеленели райские кущи Ботанического сада, а справа оставалась тюрьма, из окошек которой узники могли бесплатно созерцать, как крутятся карусели, а клоуны заывают публику в балаганы. Согласитесь, что сидеть в такой тюрьме было одно удовольствие!

Между тем, наш благородный герой двигался вдоль Порто-Франковской, не минуя при этом заглянуть в Арнаутскую и Рыбную, чтобы за богадельней для увечных и престарелых (разумно устроенной впритык к кладбищу) навестить неугомонный Толкучий рынок. Здесь, на рынке, Пахом Гориллов не стал ждать милостей от природы, а решил взять их силой. Для этого, обозревая ряды торгующих, он сделал серьезное внушение (с милым «заушением») вора-карманникам, которые признали его неоспоримую правоту, за что и отблагодарили Пахома пятью рублями.

– Еще раз увижу, так... гляди! Пятью не отделаешься...

Жарища усиливалась, и Горилову захотелось не пить, а выпить. Для этого он уклонился от генерального маршрута и на Мещанской проверил чистоту в трактире Абрама Застенкера, который сразу поднес ему чарочку – за любезное указание угла, где залежался мусор. Теперь следовало закурить, ради чего Пахом Гориллов свернул на Арнаутскую, на которой доброжелательный грек Катараксис содержал табачную лавчонку...

Вот именно здесь и произошла первая встреча!

– Здравсьте, – сказал Пахом, облокотясь на прилавок, за которым стояла невиданная раньше брюнетка, скромная и пугливая. – Отчего же не видеть сей день мадам Катараксис?

– Прихворнула, – пояснила девица. – А хозяин нанял меня недавно... Вам каких папирос желательно?

– Курим фабрику братьев Месаксуди, – величаво ответил Пахом. – А ты сама-то откедова? Местная али как иначе?

– Таврическая. Недавно приехала в Одессу из Симферополя, и вот нанялась... в услужение.

– Это плохо, – крикнул Гориллов, – это очень плохо, что приболела мадам Катараксис, имевшая похвальную привычку давать десяток папирос просто так... по знакомству.

– Воля ваша, – согласилась девица, покраснев. – Я вам тоже дам десяток бесплатно, только не говорите об этом моему хозяину... ладно? А то он, боюсь, прогонит меня.

– Ишь ты какая! – восхищенно произнес Гориллов.

– А... какая?

– Больно красовитая. Вроде бы, цыганка-молдаванка. Может, заодно и наворожишь мне на счастье?

– Извините, – потупилась девица. – Я не умею.

– Ну и ладно, – сказал Пахом, отвалившись от скрипучего прилавка. – Отсыпь мне горсточку папиросок «Пушка» и будь здорова. А мне еще ходить, чтобы порядок навести...

Пошел к дверям, но задержался на пороге:

– Эй, барышня! А зовут-то тебя как?

– Ольгой.

– По батюшке?

– Васильевна.

– А дале-то как? Прозванием?

– Попова, – назвалась девица таврическая, снова зардевшись стыдливым румянцем.

Этой информацией Пахом был вполне удовлетворен и паспорта не спрашивал, ибо в Одессе столько всяких... тьфу!

– Будь здорова, мамзель Попова, – сказал на прощание. – Ежели кто обидит, ты мне жалуйся... У меня кулаки – во! Как врежу, так потом соплей не соберешь.

– Благодарю, господин околоточный. Вы так добры, вы так сердечны, а я ведь совсем одинока... сиротинка горькая!

На этом они и расстались. Выстраивая хронологию событий, я пришел к выводу, что в табачной лавке девица появилась где-то около 1886 года. Если она родилась в 1866 году, то ее появление в Одессе будем относить к той волшебной поре юности, когда любая девушка невольно становится классической Венерой, достойной всеобщего обозрения. Конечно, околоточный не раз навещал лавку Катараксиса, но однажды ему отсыпала десяток дармовых «Пушек» сама жена хозяина.

– А куда-то девка-то подевалась? Выгнали?

– Хвостом вильнула и ушла.

– А-а-а, – с пониманием дела изрек Пахом Гориллов...

Но однажды осенью 1887 года околоточный, совершая бдительный обход своего участка, на углу Вокзальной и Тюремного переулков был обрызган с ног до головы грязью, выплеснувшей из-под дутых шин роскошного «штейгера», который увлекал в суету улиц каурый рысак. В коляске, откачнувшись назад и фривольно раскинув руки по бокам дивана, сидела красивая молодая дама. Пахом, не будь дураком, сразу засвистел, чтобы кучер остановился для восприятия кроткого «внушения», но тот, сволочь паршивая, пуще нахлестнул жеребца, и «штейгер» завернул в суматоху Ришельевского проспекта.

– Что за притча! – удивился Пахом.

Дело в том, что глаз он имел ястребиный, наметанный, и в краткий момент узнал в красавице, промчавшейся мимо него, ту самую бедную девушку из табачной лавочки. В душе околоточного, вестимо, возникли всякие подозрения:

– Уж не воровка ли какая? С чего бы этой задрипанной девке на рысках кататься и мой чин слякотью обливать...

Исполненный служебного рвения, он навестил полицейского пристава Олега Чабанова, которому и высказал свои опасения.

Чабанов подумал и сказал в ответ надзирателю:

– Ты вот что! Эту девку не трогай.

– А пошто так?

– А то, что она стала «штучкой» господина Кандинского...

Одесса хорошо знала господина В. В. Кандинского, богатого коммерсанта, державшего в городе финансовую контору.

– Вася-Вася? – удивился Пахом Гориллов. – Ну, скажи ты на милость! Кто бы мог подумать? Не успела жена помереть, как он сразу молоденькую «штучку» себе завел... Ай-я-яй! – пожалел он коммерсанта. – Где бы ему, дураку старому, по стеночке ходить с тросточкой, а он... ай-я-яй!

– «Штучка»-то – что надо, – зевнул Чабанов. – Я с Васей-Васей тут как-то на днях в штосс резался, так просил по дружбе сознаться, во сколько же она ему обходится?

– Ну-ну! Во сколько?

– Так не мычит мой Вася, не телится. Видать, понравилось иметь одалиску, теперь пушинки с нее сдувает...

В таком приятном разговоре Пахом назвал девицу Ольгой Васильевной Поповой, но Чабанов высмеял его:

– Ольга Палем, и никакая она тебе не Попова... Это она наврала тебе, а ты, дурак, и уши развесил.

– Да вить сказывала, что таврическая.

– Верно! У нее родители в Симферополе. Вообще-то я тебя предупредил: ты эту «штучку» лучше не задевай... Ну ее к бесу! У нее какие-то связи с генералом Поповым, который ныне предводителем дворянства в Таврической губернии...

3. ГОСПОЖА ПОПОВА

Спустя годы, когда имя Ольги Палем уже отгремело на Руси и затихло в безбожном отдалении, заезжий столичный корреспондент отыскал в Симферополе ее захудалых родителей.

Перед ним предстал ветхозаветный Мордка Палем, трясущийся от гнева и бедности, опозоренный своей дочерью.

– Меня была чудная девочка, – рассказывал он, – и все было бы превосходно, если бы не эти романы, которые она читала запоем... Раввин мудро предрек мне, что Адонай, великий бог отмщения, не прощает евреев до седьмого колена, и мои потомки семь поколений сряду осуждены страдать за грехи Мени, которая изменила вере своих отцов... Вы только посмотрите на мою бедную жену! – воскликнул он.

Корреспондент охотно оглядел Геню Пейсаховну Палем, уже сгорбленную нуждой старуху, глаза которой – это было заметно – не просыхали от слез и от тягостей жизни.

– Видите? А ведь моя Генечка была лучшей красавицей в городе, – сообщил Мордка Палем. – Знатные господа и даже адмиралы из Севастополя платили мне по червонцу, чтобы только полюбоваться ее красотой. Это была сущая Саломея, а теперь... Что видите вы теперь? Геня, скажи сама.

– О горе нам, горе! – запричитала старуха.

– Хватит, – велел ей муж. – Раввин оказался прав. Я ведь был вполне обеспеченный торговец, меня все уважали, а когда Меня ушла, все пошло прахом, мы сразу сделались нищими.

– Но я слышал, – заметил корреспондент, – что в вашем разорении повинна сама еврейская община Симферополя, выместившая на вас свое зло за уход юной еврейки из дома.

– Еврей не станет разорять еврея! – гневно закричал Мордка. – Это сам великий Адонай пожелал видеть меня обнищавшим. Пока она читала романы, я молчал, но теперь я ее проклинаяю.

– Я не рожала такой дочери! – зарыдала и мать...

Что же там случилось, в этом семействе?

Н. П. Карабчевский много позже проанализировал детство Мени Палем, придя к выводу: «Она не была похожа на других детей (в семействе Палем). То задумчивая и грустная, то безумно шаловливая и очень веселая, она нередко раздражалась нервными припадками... Заботливо перешептываясь между собой, родители решили, что Менечку не надо излишне раздражать, и предоставили девочке полную свободу». Впрочем, эта свобода была лишь относительной – читать русские книги ей запрещали, с детства девочке указали будущего мужа – сопливого Натана Напфельбаума, от которого вечно пахло селедкой с луком. Меня была еще подростком, когда ее стали выводить на бульвар Симферополя, одетую «барышней», и вот тут родители за ней не углядели.

Красивая и живая девочка, она, словно бабочка, резво впорхнула в компанию русских гимназистов и гимназисток, которые охотно приняли ее в свой веселый круг, в котором понимание жизни было широким, как мир, и совсем не таким, каким раньше все ей казалось. А потом Мене было так тяжело возвращаться в свой удушливый дом, где отец бубнил из потемок над раскрытым Талмудом, вздыхала за стеною мать, братья с длинными пейсами говорили меж собой только шепотом, а ходили по комнатам на цыпочках, словно боясь кого-то незримого, но страшного...

Меня оказалась чертовски талантлива! Даже без учителей она самоучкой освоила чтение и писание по-русски, тайком от родителей поглощала ночами романы, в которых распускалась неведомая ей жизнь, а прекрасные героини на самой последней странице подставляли пунцовые губы под жаркий ливень огненных поцелуев. Так зарождались мечты – сладкие иллюзии о той жизни, которая совсем не ждет ее, но которая возможна, если...

«Ах, если бы!» – потихоньку вздыхала она.

Отныне обстановка в родительском доме ей казалась невыносима, хотелось вырваться и куда-то бежать, жаждалось быть постоянно веселой, делать только то, что хочется. Но... как обрести эту призрачную свободу, чтобы не сопливый Натан, а сказочный некто увлек ее в чудесные соблазны? Наконец Меня Палем, никому ничего не говоря, сообразила, что свободу ей может дать только переход в православие.

Ей было лет пятнадцать-шестнадцать, когда она посетила православный собор в родном городе. Конечно, священник заметил еврейскую девушку в толпе молящихся, и, по окончании службы, он молча поманил ее в притвор храма, где

никого не было.

– Я тебя знаю, – просто сказал он. – Знаю и твоих папу с мамой. Разве ты не боишься, что тебя очень строго накажут в семье за посещение нашей церкви?

– Не боюсь. Крестите меня, – взмолилась Менья.

Священник был человеком осторожным.

– Не горячись, девочка, – рассудительно произнес он. – Сядь и выслушай меня очень внимательно. До Симферополя я служил в Могилеве, и там со мною случилась большая беда. Я крестил еврейскую девушку, влюбленную в русского офицера, который сделал ей предложение. Но закончилось все ужасно... Соплеменники забили ее камнями, и я до сих пор содрогаюсь, вспоминая этот кошмарный случай, в котором косвенно оказался виноват я сам. Потому и говорю тебе – будь благоразумна.

– Я вполне благоразумна, – ответила Менья Палем. – Но поймите, я хочу жить, потому и прошу вас: крестите меня!

Священник сказал, что сочувствует ее стремлениям, но сам он слишком ничтожная персона, и потому неспособен оградить ее от побиения камнями по ветхозаветным обычаям.

– Вернись домой и помалкивай, – выпроваживал он Меню из храма. – Я постараюсь сыскать авторитетного человека, который не побоится стать твоим крестным отцом...

Нашел! Это был генерал-майор и местный миллионер Василий Павлович Попов – потомок того знаменитого В. С. Попова, который состоял еще при светлейшем князе Потемкине-Таврическом и потомство которого прочно осело в Крыму, где Поповы владели огромными поместьями, перевитыми виноградной лозой, исстари завезенной сюда из Токая. Вот этот Василий Павлович Попов, наследник былой славы, и согласился быть крестным, а в конце церковной процедуры он подарил вчерашней Менечке сотню рублей, преподав ей напутствие:

– Ты стала Ольгой в святом крещении, а отчество у тебя от моего имени. Но я не стану возражать, если пожелаешь писаться «Поповой». Желаю счастья! Но после всего, что здесь произошло, домой тебе уже никогда не вернуться, почему и советую тебе скрыться... хотя бы в Одессе. Там такой оживленный город, где даже крокодил может затеряться в толпе на базаре. Но боюсь, что с такою внешностью, от судьбы не укроешься...

.....

Генерал Попов не слишком-то расщедрился перед крестницей, зато он дал ей рекомендательное письмо знакомым в Одессе, с этим письмом Ольгу Палем-Попову взяли в услужение хорошие люди из хорошего дома. Однако удержалась она в горничных день-два, не больше, ибо, как выяснилось, делать ничего не умела, даже самовар не могла поставить как надо. После этого и оказалась за прилавком табачного магазина. Но вскоре и тут выяснилось, что к торговле совсем неприспособлена, расхваливать товар не умела, и жена хозяина, выздоровев, выставила ее на улицу, еще обругав как следует за нехватку папирос фабрики Месаксуди, выкуренных околоточным Пахомом Горилловым...

А куда ей деваться? Без родни и знакомых, девушка с яркой, броской внешностью, – конечно, она уже не раз перехватывала на улицах взгляды мужчин, оценивающие ее. Выглядела же она великолепно, о таких женщинах принято говорить, что они родились с «изюминкой во рту» и созданы для любви. Вряд ли Палем-Попова догадывалась в ту пору жизни, что сейчас она – лишь хороший «товар», на который всегда сыщется покупатель.

Пристав Чабанов спустя несколько лет вспомнил, что Ольга Васильевна одевалась тогда бедненько, держалась скромницей, но была весела и здорова, а чахнуть стала именно с того времени, когда на нее нашелся богатый «покупатель».

Василий Васильевич Кандинский появился в 1887 году под видом солидного человека, который, упаси бог, не зазывал ее в ресторан у Фанкони, а сначала лишь изрекал благостные и гуманные пожелания окружить ее «отеческой» заботой, так как его сердце разрывается при виде ее сиротства:

– Вы даже не представляете, как вам повезло, что встретили именно меня, который вполне бескорыстно готов устроить ваше благополучие и ваше будущее

счастье...

Установить четкую грань, которая бы делила «отеческую» заботу от прочих интересов Кандинского, сейчас уже невозможно, и даже Карабчевский, пытавшийся проникнуть в душу Кандинского, отступил перед ним в непонимании его характера: «К сожалению, г-н Кандинский, когда от него требовалось дать прямой ответ, очень любил поговорить о погоде...»

Наверное, именно таким и был этот финансист, желавший иметь Ольгу Палем где-то между своей конторой и биржей. Как бы то ни было, но «отеческое» внимание он все-таки проявил: снял для Ольги квартиру, обставил ее хорошей мебелью, нанял служанку, а кучеру Илье велел катать Ольгу – куда ей вздумается.

– Для меня, – намекал Кандинский, перебирая брелоки часов, выпущенных поверх жилетки, – твое имя звучит отчасти вульгарно. Посмотри на себя в зеркало – какая же ты Ольга? Позволь, деточка, я стану называть тебя библейским именем Мариам, а ты называй меня своим пупсиком... Так будет гораздо проще и придаст некоторую интимность нашим непредсказуемым отношениям.

«Отеческие» отношения вскоре уступили место другим, весьма далеким от родительских попечений, но которые Ольга Палем, кажется, не слишком-то драматизировала. Кандинский вечерами, усталый, просил ее щипать гитарные струны, и после игры на бирже ему было приятно слышать игру на гитаре, и слова романса сулили ему как раз то, на что он уже не мог рассчитывать:

У ног твоих рабой умру,

Давно-давно блаженства жду.

Ты мучь меня, терзай меня,

Одно прошу – люби меня,

И, умирая, не солгу,

«Люблю» скажу – и вмиг умру...

– Ах, как это приятно! – умилялся Кандинский. Но вскоре ей стало тошно быть райской птичкой, посаженной в золоченую клетку. Человек мало выразительный, целиком погруженный в мир балансов, авуаров и кредитов, Кандинский, надо полагать, сделал ее содержанкой не ради взбодрения мужских эмоций, а лишь для того, чтобы поднять престиж своей конторы; пусть люди говорят: «Если уж этот старый хрыч мотает на молодую любовницу, так, значит, финансы его конторы в полном порядке...» Ольга Палем стала как бы яркой рекламой преуспевания конторы Кандинского, который серьезно полагал, что квартира, мебель и служанка – этого вполне достаточно, чтобы его «Мариам» была довольна и счастлива.

Кстати, у него был приятель – отставной полковник Колемин, уже пожилой человек, и он был единственным, кого Кандинский допустил до знакомства с Ольгой Палем. Случайно, оставив мужчин наедине, Ольга слышала, как Колемин говорил:

– Мерзавец ты, Васька, мало тебя смолоду били! С тебя-то спрос короткий, благо из штанов давно песок сыплется, а вот каково-то ей, бедной девице? Ведь ей жить да жить, а кто возьмет ее в жены, если узнает, что она была твоей содержанкой? Ты бы прежде хоть со мной посоветовался...

Отношения с Кандинским затянулись, но, встречая Ольгу Палем-Попову на улицах, пристав Чабанов заметил, что «меценатство» Кандинского не пошло на пользу: женщина выглядела плохо, осунулась, подурнела. Это были внешние проявления, а сам Кандинский наблюдал и внутренние – его «Мариам» колотила тарелки на кухне, кричала на служанку, казалась издерганной, не в меру вспыльчивой, места себе не находила.

– Деточка, – вежливо допытывался Кандинский, – пожалей своего пупсика и не будь такой букой. Чего тебе еще не хватает? Ну скажи что-нибудь ласковое. Может, добавить денег, чтобы ты завтра побегала по Александровской?

Колемин, человек семейный, навещал ее запросто, с ним Ольга была доверительна, как дочь с отцом. Бывалый вояка, крутой и честный, полковник сам и завел разговор с нею.

– Слушай! – сказал он Ольге. – У меня ведь дочь старше тебя, и я вижу, что ты исчахлась, а красота твоя меркнет... Разве это жизнь? Одна маета и никакого

просвета. Ну хорошо, я приятель Васи-Васи, но все же скажу, что он тебя в гроб загонит! Ты меня послушай, дочка, я ведь зла тебе не желаю. Только добра хочу.

– Верю, – тихо отозвалась Ольга, заплакав.

– Бросай ты этого полудохлого мерина и поживи, как живут все молодые чудачки. На что этот Вася-Вася, который нужен тебе – словно слепой поводырь зрячему?

– Он меня не отпустит, – призадумалась Ольга.

Колемин трахнул кулаком по столу:

– А пусть только попробует не отпустить! Или ты веревкой к нему привязана? Не спорю, что Вася-Вася честный человек, но он же свихнулся на старости лет. Всю жизнь прожил со своей гримзой, а теперь ему, видите ли, свежатинки захотелось!

Ольга Палем вытерла слезы, спросила:

– Уйду! А вот на что я жить стану?

– Наймись.

– Куда? Меня же никто не возьмет, я белоручка, ничего не умею делать, метлы в руках не держала...

– Ах ты, господи! – сокрушенно вздыхал Колемин. – Ладно, – рассудил он потом, – я сам поговорю с Васей-Васей, чтобы кончал дурака валять, чтобы своих седин не позорил и чтобы тебя не позорил перед всем светом...

Этот разговор, судя по всему, происходил летом 1889 года. Кандинский, подводя баланс своим амурным делам, откровенно признался другу, что изнурен до крайности:

– У меня после общения с Мариам стало вот тут побаливать. Раньше не болело, а теперь болит. И сам вижу, что ради соблюдения благопристойности нам лучше

расстаться. Не только она со мною измучилась, но и мне стало труднее высиживать дни в конторе. Мариам очень скоро вошла во вкус и теперь требует от меня такой прыткости, будто я только вчера закончил гимназию... Так и быть. Расстанемся по-хорошему.

- Что ты называешь хорошим? – спросил Колемин.

- Хорошо – это когда без скандала...

Ольга Васильевна стала укладывать вещи в саквояж.

- Ну, я пойду, – сказала она. – За хлеб-соль спасибо. Чужого мне не надобно. Прощайте.

- Стой! – заорал полковник как бешеный. – Куда пойдешь? До первого фонаря на углу? Там тебя адмирал Зеленый возьмет на цугундер, потом не отбрыкаешься... Думать надо!

- Я думать не умею, – созналась Ольга.

- Так я стану за тебя думать. Садись!

Ольга Палем присела между пожилыми мужчинами.

- Так дела не делаются, – строжайше выговорил полковник Кандинскому. – Если ты, сукин сын, обесчестил Ольгу Васильевну ее стыдным положением, так будь любезен раскошелиться, чтобы она не побиралась. Ничего! Ты не обеднеешь, а душу спасешь. Согрешил – так давай расплачивайся.

Кандинский, не прекословя, выложил на стол три тысячи, просил Ольгу Палем заверить полученную сумму подписью в особой квитанции, припасенной для финала беседы заранее:

- Этот расход я должен внести в конторские книги, дабы бухгалтер подвел баланс тютелька в тютельку... Ну что ж, – обвел он глазами комнату, – мебель очень хорошая. Я, конечно, сожалею, что все получилось кувырком, но... За мебель держаться не стану. Пусть Ольга Васильевна забирает все.

– Заберет, не сомневайся, – утешил его Колемин. – А ты, – повернулся он к Ольге Палем, – не сиди, как разиня деревенская. Говори сразу, что тебе еще от этого Ротшильда надобно?

Ольга, смущаясь, разглядывала свои ногти:

– Да ничего мне больше не требуется...

Бравый полковник поводил перед самым носом Кандинского громадным пальцем, багровым от возмущения.

– Нет уж, – гневно прошипел он. – Ты у меня, Вася-Вася, мебелью да посудой от девки не отвинтишься. Иначе я тебе, дурню старому, и руки впредь не подам... Понял?

– Разве я спорю? – отозвался Кандинский, следя за движением пальца. – Я ведь не враг Оленьки, почему бы и не выручить ее... только бы не забывала она расписываться в квитанциях!..

Ольга Палем вышла на улицу, уселась в пролетку.

– Илья, – сказала она, – ты одессит старый, все тут давно знаешь, поехали искать новую квартиру.

– Да есть тут одна вроде бы... Нно-о, помчались!

Он задержал бег рысака возле обширного дома Вагнера на Дерибасовской. Лопоухий гимназист, увидев богатую даму, перестал ковырять в носу. Ольга Палем поправила на нем фуражку.

– Не знаешь ли, сдает ли хозяин квартиру?

– Ага. На втором этаже. Вон шесть окон. А вы кто будете?

– Твоя будущая соседка... Тебя как зовут?

– Мама! – что есть мочи завопил гимназист. – Тут спрашивают, как меня зовут. Отвечать или сама поговоришь?

– Без меня ничего не говори, – слышалось из окон. – Я сейчас выйду сама и скажу, что тебя зовут Вивочкой...

...Странно, что в окружении Кандинского я встретил и некоего Малевича. Но в какой степени родства они были с известными абстракционистами – этого я, простите, не выяснил. Просто мне было некогда залезать в генеалогические дебри.

Сейчас у меня и у вас, читатель, есть дела поважнее!

4. ПОМОГИ ЕЙ, ГОСПОДИ!

По утрам, коленопреклоненная, Ольга Палем молилась:

– Боженька ласковый, помоги мне, бедненькой....

Залитый солнцем город, почти воздушный, если глянуть на него с моря, синеватый отблеск базальтовых мостовых, белый слепящий камень дворцов богачей и негоциантов, бурные всплески полосатых тентов, растянутых над верандами и балконами. До глубокой ночи шумели рестораны Робини и Фанкони, в которых навзрыд играли румынские скрипки, а таборные цыганки сулили разлуку в степных раздольях. Дельцы, жулики и пройдохи с утра занимали столики в приморских кафе, спекулируя меж собой чуть ли не воздухом. В публичных садах звончато гремели струи фонтанов, оркестры выдували в небо разнузданные мотивы из оперетт Оффенбаха, оживленная публика слонялась по бульварам, юные жуиры и стареющие бонвиваны с торопливой угодливостью раскланивались перед дамами, приятными во всех отношениях. На каждом углу продавали цветы, все благоухало морем, дынями, акациями, вином, дамскими духами от Ралле и Броккара, и все вокруг, кажется, звучало – музыкой, плеском воды, говором, призывами, откликами, смехом...

Тут и не захочешь, да поневоле взмолишься:

– Вразуми меня, Господи, и не дай пропасть...

Только теперь, вырвавшись из клетки, обильно позлащенной Кандинским, Ольга Палем взмыла ввысь как вольная птица, и с трагической высоты своего одинокого полета она, казалось, увидела сама себя – свободной, прекрасной, счастливой.

Не сердитесь, если я снова сошлюсь на слова Н. П. Карабчевского: «Она вращалась теперь в обществе молодых студентов и офицеров, юнкеров и гимназистов. Они устраивали для нее кавалькады, сопровождали верхами в загородных прогулках, вводили Ольгу Палем в свои студенческие вечеринки и танцевальные вечера; в обществе молодой и красивой женщины всегда было шумно, весело, молодо, непринужденно...»

– Господи, не оставь меня! – молилась Ольга Палем, обуянная тихим ужасом перед приманками жизни, столь щедро разбросанными на путях ее жизни.

Да, слишком уж много соблазнов окружало ее, все ухаживали за ней, влюблялись в нее, недоступную никому, и она, как и всякая женщина, ощутившая власть своей красоты, становилась излишне гордой, презрительно-равнодушной, все отвергающая, выдумывающая о себе даже то, чего никогда не было.

– Почему я сегодня Палем, а завтра опять Попова? – говорила она своим поклонникам. – О-о, это ужасная история... Моя мать, красивая княжна из рода крымских Гиреев, была женою какого-то богача Палема, но покинула его ради страстной любви к одному аристократу... Потому и называю себя как хочу!

Но свои выдумки она вышивала по черному белыми нитками. Если ее улавливали на лжи, Ольга Палем обижалась:

– Это не ложь, а лишь маленькое преувеличение...

Среди молодежи, окружавшей ее, оказался и титулованный студент барон Сталь-фон-Гольштейн, который открыто выражал сомнение в ее «недоступности».

– Бросьте, господа! – авторитетно заявил он однажды. – Палем или Попова, называйте ее как угодно, самая обычная «прости господи». Разве неизвестно, что она уже побывала в сарданапаловых объятиях старого паука, известного одесского гобсека? А где река текла, там всегда мокро будет...

– Чем докажете это, барон? – возмутился курносый юнкер Сережа Лукьянов, тайный обожатель красавицы-амазонки.

– Чем? – усмехнулся Сталь. – Согласен на пари. Через неделю она станет моей... Вы, юнкер, не верите?

– Не верю.

– Тогда договоримся: если Ольга Палем устоит передо мною, я, как благородный человек, признаю свое поражение, так и быть – ставлю на всех ящик шампанского.

Через неделю барон честно расплатился за проигрыш.

– Черт бы ее побрал, эту недотрогу! – сказал он при этом. – Ведь я всегда был неотразимым мужчиной, но эта язва и впрямь оказалась неприступнее Карфагена... Может, теперь попытаете счастье именно вы, юнкер Лукьянов?

– Зачем? – понуро отвечал тот. – Зачем мешать Аристиду Зарифи, в которого влюблена госпожа Палем? Вы же видите, как волшебно сияют ее глаза, когда она встречает его...

Кажется, Ольга Палем действительно влюбилась в очень красивого грека, сына богатого негоцианта, но Зарифи лишь загадочно улыбался, когда его спрашивали о результатах романа. Да, возникли и сплетни о том, что Аристид хорошо заплатил Ольге Палем, но красавец сразу же отверг эти слухи.

– Стоит ли разводить грязь на чистом месте? – сказал он. – Ольга Васильевна и своих денег имеет достаточно. Она даже не делает секрета, откровенно рассказав мне, что господин Кандинский до сих пор опекает ее как родной папочка...

Летом 1889 года в компании «золотой» молодежи Одессы, в которой юнкер Сережа Лукьянов был самым невинным и скромным, неожиданно заметили, что именно этот юнкер одержал над Ольгой Палем неслыханную победу. Капризная красавица сама пожелала провести летний сезон на захудалом хуторе его матери – в степных краях под Аккерманом. Мать юноши встретила Ольгу Палем очень радушно, и до чего же хорошо было Ольге на хуторе, где сохранилась еще дедовская библиотека, а вечерами, сидя в «вольтеровском» кресле, по-домашнему поджав под себя ноги с выпуклыми коленками, Ольга Палем запоем читала Бальзака, Гюго, Флобера, Поля де-Кока, Жорж Занд и Бурже.

– Боже праведный! – восклицала она, блаженно щурясь при свете керосиновой лампы. – Сережа, милый, как я завидую тем людям, что жили до нас... сколько огня, сколько страсти!

Молоденький юнкер, влюбленный лишь платонически, не смел и пальцем коснуться своей «богини», счастливый лишь оттого, что его глаза впитывают свет ее глубоких очей.

– Может, чаю? Или сливок? – суетливо предлагал он. – Мама говорит, что вы мало едите. Это ее беспокоит...

Рано утром Ольга Палем еще нежилась в постели, сонно слушая возгласы петухов, звавших ее к пробуждению, когда за стеною возникла тихая беседа матери с сыном.

– Ах, Сережа! – говорила мать. – Вот станешь ты офицером, придет время жениться и... Поверь, лучшей невестки я бы и не хотела! Мне очень нравится Оленька, ты как-нибудь поговори с нею, чтобы согласилась дожидаться тебя уже при эполетах.

– Что вы, мама! – почтительно отвечал юнкер. – Ольга такая красивая, а я... я такой курносый. Как я скажу ей?..

Лукьянов провожал ее осенью до вокзала в Аккермане, прощаясь, они долго стояли молча, и Ольге Палем было жаль оставлять юношу на перроне так... просто так. В самом деле, что ей стоит подарить ему свои губы, чтобы потом не спал по ночам, чтобы думал о ней, чтобы ожили прочитанные романы.

Но ударил гонг – почти спасительный для нее.

Доброе пожатье рук – и ничего больше.

Так закончилось это лето – без единого поцелуя.

...Знал бы Сережа Лукьянов, что пройдет несколько лет, и ему, ставшему офицером артиллерии, придется отстаивать честь его «богини», которую станут обливать зловонными помоями, всю испачкав грязью домыслов и циничных обвинений.

.....

В доме Вагнера на Дерибасовской она снимала обширную квартиру на втором этаже, а почти весь бельэтаж занимали состоятельные люди – чиновники или офицеры с семьями, здесь царили тишь да гладь да божья благодать, ароматизирующая запахами кухонь, волнуемая звуками роялей, на которых доченьки с бантами в прическах разучивали гаммы. Граммофоны тогда еще не вошли в моду, одесситы довольствовались шарманками. Похрустывая на зубах шоколадом, Ольга Палем часто внимала пению девочек, подпевавших шарманкам из обычного репертуара улиц:

Подайте мне карету,

Трех вороных коней,

Я сяду и поеду

К разлучнице своей...

Это слышалось с улицы. Зато окна квартиры выходили во двор, где размещались жилые флигели с открытыми галереями, густо заселенные мастеровым и базарным людом. Там в корытах прачки стирали белье для жильцов бельэтажа, там ругались и дрались мужья с женами, за что-то постоянно лупили орущих детей, со двора неистово гудели примусы, а на гигантских сковородах вечно шкворчали неизменные баклажаны с луком, запах которых Ольга Палем вдыхала вольно или невольно... Гораздо труднее было мириться с бурными дискуссиями, возникавшими во дворе на лирической, меркантильной или национальной основе.

Ольга Палем невольно съезживалась в своих комнатах, когда со двора раздавалось требование:

– Заткнись ты... морда жидовская!

– От такого слышу! Ты сначала глянь на свою морду...

Общедворовый скандал развивался по всем правилам народного искусства: евреев оставляли в покое, зато с жаром и пылом начинали перебирать других обитателей двора:

– У, хохлятина! Сало-то с салом, вот и нажрал ряшку.

– А тебе, кацапу, больше других надобно?

– Я этой гречанке глаза повыцарапаю. Давно вижу, как она в мово драгоценного буркалы свои уставила, бесстыжая!

– На помощь, тут свои наших бьют!

– Свят-свят, люди добрые, будьте в свидетелях.

– Маланья, у тебя борщ сбежал... кипит!

– Чичас всех в протокол запихаем!

– Николай, с кем ты связался-то? Или у тебя других дел не стало? Марш домой, покедова я не озверемши...

Но даже в этом содоме, столь обычном для одесских задворок, к Ольге Палем относились хорошо. Она ладила с жителями двора, как умела ладить и с жильцами бельэтажа. Умела утешить бедную прачку, если у нее запивал муж-сапожник, давала на водку и сапожнику, когда тому требовалось похмелиться. Дворовые дети любили «тетю Поповочку», угощавшую их конфетами в красивых хрустящих фантиках, дарившую им пятаки на мороженое.

Со всеми ровная и улыбчивая, Ольга Палем быстро сошлась и с обитателями бельэтажа. Как раз под нею селилась чиновная вдова Александра Михайловна Довнар-Запольская, моложавая и внешне симпатичная дама; любимой ее присказкой были слова: «Что люди скажут?» Вдовица жила наследством от мужа, воспитывая четырех детей. Ольга знала, что ее старший сын Александр уже студент, но видела его лишь мельком, вечно спешащего; зато к ней привык младший – Виктор Довнар, тот самый, что ковырял пальцем в носу, когда она первый раз подъехала к дому Вагнера, чтобы снять здесь квартиру.

Теперь Ольга Палем, сидя на балконе, часто разговаривала с «Вивочкой», как звали его домашние, когда зазывала к себе, поила чаем или какао, дарила мальчику игрушки и лакомства. Довнар-Запольская никогда не благодарила Ольгу Палем за такое внимание к младшему сыну, но однажды, случайно повстречав ее в подъезде дома, сразу завела речь о старшем сыне.

– Вы еще молоды, вряд ли поймете мои материнские волнения. Саша уже студент, умный, талантливый, скромный, естественно, он уже нуждается в женщине, и судить его за это нельзя. Но я боюсь, чтобы он не стал искать женской любви там, где ее находят холостые мужчины. Вы же знаете, голубушка, чем это все кончается. Так легко заболеть от дурных женщин...

Ольга Палем покраснела – как и тогда, когда околоточный Пахом Гориллов выклянчивал у нее дармовые папиросы. При этом она нервно повела плечами, отворачиваясь:

– Александра Михайловна, я сама такая же... я ведь тоже боюсь. Не знаю, что и сказать вам в утешение.

Казалось, на этом разговор двух женщин, молодой и зрелой, должен бы закончиться. Но мадам Довнар не уходила.

– Платить за любовь, знаете, тоже как-то неудобно, – продолжала она, намекая чересчур откровенно. – Но чего не сделает мать ради любимого сына? Я согласна на любые расходы, лишь бы мой Сашенька не навещал Фаину Эдельгейм.

– Эдельгейм? А кто это такая? – удивилась Ольга Палем.

– Как? Вы не знаете того, что известно всем одесситам? Это же матерая бандерша в самом фешенебельном доме свиданий. Простите, что возник такой житейский разговор, для меня самой неприятный. Но поймите и мое материнское сердце...

Но и теперь не ушла, не досказав что-то главное.

– Понимаю, – кратко отозвалась Ольга Палем.

Но кажется, она еще не все понимала. Не понимала самое главное: время, проведенное на содержании у Кандинского, позволяло судить о ней именно так, как справедливо судила и почтенная матрона Александра Михайловна Довнар-Запольская.

Палем жила одиноко и гостей не ждала. Тем более было странно, когда через несколько дней после этого разговора в дверь ее квартиры позвонили с лестницы. Думая, что это звонит дворник, она широко и бездумно распахнула дверь...

Перед ней стоял молодой и внешне приятный человек с таким идеальным пробором на голове, какой бывает только у чиновников для особых поручений, состоящих при очень важных персонах. Кажется, перед визитом к одинокой женщине он не пожалел бриллиантина, отчего волосы его ярко блестели, создавая в потемках светлый кружок нимба над головой, словно перед нею, божественно настроенной, явился новый апостол.

– Не помешаю своим вторжением? – спросил он.

– Проходите, – ответила Ольга Палем.

Оказавшись в прихожей, гость отчетливо прищелкнул каблуками и резким наклоном головы выказал ей свое уважение:

– Не откажу себе в удовольствии представиться. Александр Степанович Довнар-Запольский... сын покойного статского советника. Из шляхетского рода старинного герба «Побаг».

Ольга Палем не знала, что делать в таких случаях, ибо сама не могла похвастать своей родословной, а вместо герба ей служили яркие и сочные губы.

– Очень приятно, – сказала она в полной растерянности. – Может, пойдете? Правда, у меня не совсем прибрано... извините. Терпеть не могу заниматься хозяйством.

5. КАК ЕМУ ПОВЕЗЛО

Пройдя в комнаты и долго выбирая удобную позу для расположения в кресле – так, словно он собирался позировать перед художником, желающим обессмертить его на портрете, – Довнар вежливыми словами начал свой гибельный и неотвратимый путь:

– Я бы, наверное, не осмелился тревожить покой одинокой очаровательной дамы, если бы не одно важное обстоятельство, понудившее меня именно к этому. Собственно, – упивался Довнар своими словами, – я потревожил вас только потому, что я лично и моя драгоценная мамулечка давно желали выразить вам свою признательность за то доброе отношение, которое вы столь щедро распространили на моего младшего брата Вивочку...

Наверное, эти фразы были заранее написаны Довнаром и, заученные наизусть, произносились без малейшей запинки. Гладкие, словно обтесанные слова, хорошо притертые одно к другому, теперь стекали легко и свободно – как течет вода из кухонного крана, и, казалось, не закрой этот кран потуже, вода его вежливых слов будет струиться безостановочно.

– Не стоит вашей благодарности, – сказала Ольга Палем, остановив безудержное течение слов. – Давайте лучше поговорим о чем-либо ином. Вы учитесь, чтобы стать... кем?

Воротничок на шее Довнара имел круто загнутые уголки «лиселей», в узле галстука поблескивала матовая жемчужина.

– Сложный вопрос! – ответил он, переменив эффектную позу на более развязную. – Кем я хочу стать – этого не ведает даже моя любимая мамочка. Сейчас я студент математического факультета местного Новороссийского университета. Однако мир теорем и формул меня, признаюсь, не вдохновляет. Ну допустим, я получил диплом. А что далее?

– Далее... наверное, завидное будущее.

– Будущее? Где вы усмотрели это завидное будущее? В лучшем случае я стану преподавателем в гимназии, благо ни Эйлера, ни Араго из меня никак не получится. А тогда простителен вопрос: что же ждет меня впереди?

– Что? – эхом откликнулась Ольга Палем.

– Ни-че-го... пустота, – энергично отозвался Довнар. – В жизни все-таки следует иметь не кусок хлеба, а лучше кусок роскошного торта. Я помышляю податься в область медицины, ибо врачи гребут деньги лопатой, а потом отвозят их в банк тачками. Смотрите, как живут Боткин или Захарьин...

Он замолк, размышляя, наверное, о том, как живут боткины и захарьины. Ольга молчала тоже. Довнар продолжил:

– Мы существуем на этом поганом свете только единожды, и второй жизни не дано, об этом не следует забывать. Если я стану принимать клиентов под вывеской частного врача, то, согласитесь, это намного прибыльнее, нежели ежедневно втемяшивать в тупиц-гимназистов великое значение Пифагора...

Ольге Палем, послушавшей Довнара, стало даже неловко, ибо все ее знание мира ограничивалось романами с неизбежным поцелуем в конце, после чего главная героиня «задышалась от бурной страсти». А тут тебе сразу и Араго с Пифагором, да еще Боткин с Захарьиным, названные столь легко, словно Довнар накидал их в тачку лопатой, а сейчас отвезет всех на свалку, чтобы потом резать шикарный торт своей будущей жизни.

– Итак, все ясно! – решительно заявил он, быстро покинув кресло, и прошелся по комнате, явно красуясь.

Ольга Палем, грустная, взирала в окно, и там она видела, как первый осенний лист, забавно кружась в воздухе, вдруг жалко и безнадежно прилип к мокрому стеклу. «Вот и я так же», – подумалось ей. Начиналась осень 1889 года...

Довнар вдруг круто остановился:

– Простите, я не слишком вас утомил?

– Нет, что вы!

– О чем же вы так печально задумались?

– Мне уже двадцать три. А... вам?

– Мне двадцать два.

– И вы пришли... – начала было она.

– Дабы выразить вам душевную благодарность, – был четкий ответ. Довнар постоял. Подумал. Закончил: – За брата.

– И это... все? – повернулась к нему Ольга Палем.

«Он боится идти в бедлам Фаньки Эдельгейм и потому пришел ко мне», – вдруг резануло ее чудовищной догадкой.

Но ответ молодого человека прозвучал совершенно иначе.

– Пока все, – сказал Довнар. – Спокойной ночи.

Когда Довнар спускался по лестнице, Ольга Палем слышала, как он насвистывает. Она разделась и легла в постель. Ей тоже хотелось свистеть – так же красиво и так же бравурно, как это делал Довнар, но у нее, глупышки, ничего не получалось.

.....

Утром она навестила Кандинского в его конторе и сразу, уронив голову на стол, начала громко плакать.

- Деточка, что с тобою? – испугался Кандинский.

- Не знаю.

- Ты... влюблена?

- Наверное.

- Так это же очень хорошо. Скажи, кто он?

- Довнар-Запольский. Студент. Математик.

- Поздравляю, – разволновался Вася-Вася, со старческой нежностью погладив ее по руке, так соблазнительно откинутой поверх стопки бумаг с колонками дебетов и кредитов его конторы. – Я ведь когда-то знал и батюшку этого студента. Вполне порядочная и культурная семья. Впрочем, покойный всегда был под каблуком своей ненаглядной, это уж правда... Скажи, деточка, ты ни в чем не нуждаешься?

- Нет. Спасибо.

- Но ты не забывай своего старого пупсика. Я совсем не желаю, чтобы ты, моя прелесть, в чем-то себе отказывала. Все-таки объясни, ради чего ты сегодня ко мне пожаловала?

Ольга Палем откинула голову, вытерла слезы.

- Просто так. У меня же, Василий Василч, никого больше нет. Я одинока, как бродячая собака... Наверное, помешала вам, да?

- Если говорить честно, то – да! Я так занят, так много дел. Впрочем, – засуетился Кандинский, – мой «штейгер» стоит у подъезда, Илья сегодня трезв, аки херувим, и он отвезет тебя хоть на край света...

Ворохи желтых листьев вихрились в воздухе, все вокруг было так красиво и замечательно, так легко ей дышалось, когда, опустив вуаль со шляпы, Ольга Палем – барыней! – катила по Ланжероновской, а потом рысак вынес ее прямо на Дворянскую и замер на углу Херсонской – возле здания Новороссийского (иначе Одесского) университета.

Ольга велела кучеру обождать, но из коляски богатого «штейгера» не вышла и осталась сидеть, широко раскинув руки по краям дивана. Желтые листья кружились долго...

– Чего ждем-то? – спросил Илья, просморкавшись.

– Судьбы.

– А-а-а... эта штука полезительная. Особенно ежели кому повезет. Я судьбу знаю. Такая стерва – не приведи бог!

– Ах, Илья, Илья, – рассмеялась Ольга Палем, наслаждаясь ожиданием. – Видел ли ты хоть разочек в жизни счастливого человека?

Илья радостно хохотнул ей в ответ:

– Да я тока вчерась был им! Опосля свары с женкою она мне сразу два шкалика на стол выкатила и говорит: «Чтоб ты треснул, зараза худая, и когдась ты лопнешь?» Ну я, вестимо дело, чекалдыкнул и такой стал счастливый. Даже запел.

– Вот и мне, Илья, сегодня хочется петь...

Она дождалась. Закончились лекции в университете, студенты веселой и суматошной гурьбой выбегали на улицу, улавливая падавшие с деревьев осенние листья. Наконец показался и Довнар, горячо жестикулирующий, что-то доказывая своим коллегам.

Вдруг увидел ее. Сам остановился, и остановились все.

Ольга Палем рукою в серебристой перчатке поманила его к себе – жестом, почти царственным, словно Клеопатра, подзывающая своего Антония.

Довнар подбежал, почти ошеломленный:

– Вы?

– Нет, это не я, – отвечала она, приподняв вуаль.

– Но чья же эта роскошная коляска, чей это рысак?

– Мои...

Их обтекала толпа студентов, слышались возгласы:

– Во, Сашка... везет же дуракам!

– Оторвал от лаптей хромовые стельки.

– Да, братцы, это вам не Танька с толкучки.

– Такая одну ночь подержит, а утром выкинет.

– Садитесь рядом, – сказала Ольга Палем растерянному Довнару. – Мой Илья хотел бы знать, куда вам надо?

– Вообще-то... домой. Mamочка ждет к обеду.

– Какое приятное совпадение! – поиграла глазами Ольга Палем. – Я тоже еду домой, только у меня нет мамочки и обедов я не готовлю, ибо хозяйка я никудышная...

Далее события развивались стремительно. Не было, пожалуй, такого вечера, чтобы Довнар не засиживался у нее до полуночи, и она почти силком выпроваживала его к мамочке, снова слушая его очаровательный свист. Правда, Довнар иногда словно невзначай пытался обнять ее талию, хотел бы и

поцеловать, но Ольга Палем с хохотом, а иногда даже с явным раздражением выкручивалась на его объятий:

– В чем дело? Пока лишь жесты. А где слова?

– Какие? – притворно недоумевал Довнар.

– Можно бы и самому догадаться... о словах!

Но с объяснением Довнар не спешил, очевидно, заранее наученный матерью помалкивать, ибо Александра Михайловна не искала для сына любимую женщину, а желала для него лишь покорную наложницу, которая обойдется и так – без порхания амуров над внебрачную постелью.

Впрочем, молодые люди скоро перешли на «ты», оба они чувствовали, что один в другом стали нуждаться. Вскоре мадам Довнар, которая имела служанку Дашу Шкваркину, служившую за 15 рублей в месяц, уступила ее Ольге Палем, которая стала платить на пятерку больше. Это заставило студента Довнара подвести в уме нехитрую калькуляцию:

– Слушай, откуда у тебя лишние деньги?

Ольга Палем не стала выкручиваться, не стала придумывать, она просто и честно созналась, что у нее своих денег нет и не будет, все деньги поступают к ней из кассы Кандинского.

Довнар пересел к ней поближе, ощутив тепло ее тела:

– Значит, это правда, что говорят о тебе люди?

– Да, – не стала она кривить душою.

Довнар призадумался. Она, как женщина, ожидала от него вспышки безумной ревности, заранее согласная вынести удары пощечин, но – вместо этого – получила деловой ответ:

– Это хорошо. Даже очень хорошо, что старик тебя не забывает. Ты оставайся с ним поласковее. Чем черт не шутит, но, может, еще понадобятся услуги гобсека – Кандинского.

– Кому? – душевно напряглась Ольга Палем, в этот момент даже оскорбленная его расчетливым спокойствием.

– Нам, – внятно ответил Довнар...

Это «нам» внутренне потрясло Ольгу Палем: он, который не желает сознаться в своей любви (а ведь любит, любит, любит!), он уже разделил с нею деньги, как делят торговцы выручку на базаре. За окном сыпал мягкий снежок, но в этот миг он словно почернел в ее глазах. Женщина без нужды передвинула горшок с геранью на подоконнике, потом долго барабанила пальцами по оконному стеклу, раздумывая, и воробей, сидевший на ветке дерева, подпрыгивал, готовый улететь подальше...

Наблюдая за этим воробышком, Ольга Палем вдруг болезненно ощутила, что ее чувство, как никогда, именно теперь нуждается в ответном отклике. Да, пришло время, чтобы спросить:

– Я жду... любишь или не любишь? Не лучше ли уж сразу сказать мне «да», чтобы не изнурять меня в ожидании.

Довнар с деланным величием раскурил папиросу «Элегант», долго не знал, куда бросить обгорелую спичку, и наконец он воткнул ее в горшок с цветами герани.

– Ну, знаешь ли, – стал говорить он, отводя глаза в сторону, – я не привык расточать высокопарные слова, которыми пестрят страницы бульварных романов. В конце-то концов, – убежденно произнес Довнар, – между разнополыми особями существуют именно те отношения, которые и вызывают к жизни именно такие слова, которые ты ожидаешь слышать...

Слова текли, текли, текли – опять как вода из крана, который лучше сразу закрыть, чтобы не погибнуть в их потоке.

– И ты, – спросила Ольга Палем, – сначала желаешь иметь эти отношения, чтобы только потом разукрасить их словами?

– Стоит ли этому удивляться? – ответил Довнар. – Известно, что дом сначала строят, а потом его красят.

– Не старайся придумывать отговорки. Я не милости у тебя прошу, а только слово... одно лишь слово. Умри, но не давай поцелуя без любви. Кто так сказал?

– Не помню, – поежился Довнар с таким видом, словно ему подали к столу нечто заманчивое, но вряд ли съедобное.

– Но сказал их умный человек, так и мы будем умнее. Разве ты, Саша, не знаешь о моих чувствах?

– Догадываюсь, – сухо кивнул Довнар.

– Скажи на милость – он догадывается! – с явной издевкой произнесла Ольга Палем. – Да моя Дунька Шкваркина раньше тебя догадалась... Я же вижу! Все вижу. Ты ходишь вокруг меня, словно кот вокруг миски со сметаной. Ты льнешь ко мне, ты ищешь моего тела, но при этом боишься связывать себя словами любви... Трус! – крикнула она. – Ничего не получишь.

– Это уж слишком, – наигранно возмутился Довнар. – Вот уж не думал, что моя благородная сдержанность будет оценена именно таким образом...

– Теперь уходи, – невозмутимо сказала Ольга Палем.

– Уходить? Не понимаю – куда?

– К своей мамочке...

Сгорбленный, волоча ноги, Александр Довнар ушел. На этот раз она уже не слышала его музыкального свиста...

.....

Было уже далеко за полночь, а Ольга Палем даже не прилегла.

На кухне во всю ивановскую храпела Дунька Шкваркина, у которой, – после прибавки к жалованью – никаких проблем больше не возникало. В печи жарко отпыхали поленья, красные угли погасали, зловеще отсвечивая голубыми огнями. К ночи разыгралась вьюга, стегала в окна пригоршнями снега.

Ольга Палем блуждала по комнатам.

Думала, сравнивала, отвергала, привлекала...

Мучилась!

Неожиданно вздрогнула: кто-то не звонил с лестницы, а лишь тихо скребся в двери, как скребется виноватая собака, умоляющая хозяина не оставлять ее в такую ночь за порогом.

– Кто там? – почти шепотом спросила Ольга Палем.

– Я... опять я.

Довнар вошел, сразу опустился перед ней на колени.

– Прости, – повинился он, не подымая на нее глаз.

– Я действительно люблю тебя... даже очень. Безумно! Но ты права: мама запретила мне выражать свои чувства, чтобы я не связывал себя никакими словами... Прости, прости, прости! Если только можешь, умоляю – не мучай меня. Сжался.

Не вставая с колен, Довнар расплакался.

Ольга Палем водрузила руки поверх его головы с идеальным пробором, словно на святой аналой перед причастием:

– Значит, любишь?

– Да.

– Клянись!

– Клянусь.

– Тогда, мой любимый, можешь смотреть...

Резкими движениями она стала разрывать на себе одежды, выкрикивая с каким-то упоением, словно молилась:

– На! На! На! Получи же наконец...

И, совершенно голая, переступив через клочья своих платьев, двинулась на него, гордо выставив остроторчащие сосцы женщины, которая все уже знает:

– Если любишь, так... на!

Читатель-мужчина может закрыть мой роман.

Но читательница-женщина, думаю, не оставит его.

6. ЖЕНЩИНА НЕ ДОЕСТ...

Больше всех радовалась Александра Михайловна Довнар, вдохновенно растрепавшая всем знакомым и незнакомым:

– Вы не представляете, как повезло Сашеньке! Отныне мое материнское сердце спокойно... Просто чудо! – восклицала она восторженно. – Мой сыночек нашел женщину, которая всегда под боком, живет этажом выше. Но, что особенно меня устраивает, так это то, что она ничего Сашеньке не стоит... ни копейки! Согласитесь, что по нынешним временам это большая редкость.

Опытная матрона, сама усиленно ищущая себе доходного мужа, мадам Довнар всячески поощряла удобную связь сына с госпожой Палем. Сам же Александр Довнар действительно увлекся молодой соседкой, легкие шаги которой на втором этаже явственно слышал в своей комнате. Но при этом студент хотел бы казаться перед сверстниками эдаким равнодушным фатом, который привык менять женщин как перчатки. На самом же деле Ольга Палем сильно растревожила его сердце. Он даже прифрантился и заимел тросточку, желая нравиться, но деньги тратил все-таки в разумных пределах, не допуская излишеств...

Сорил медяками больше по мелочам – когда бутылка лимонада, когда кекс из кондитерской Балабухи или крошечные пирожные.

– Я знаю, ты любишь птифуры, – уверял он женщину.

Она их раньше презирала, но теперь... полюбила.

Чтобы придать себе значимость, Довнар иногда рассказывал Ольге Палем не то, что с ним было, а то, что случилось с другими, приписывая себе спасение утопающих в бушующем море или безумную драку с околоточным, который спасался от него постыдным бегством. Конечно, женщина догадывалась, что он привирает, дабы предстать перед ней в наилучшем, героическом свете, но любое вранье выслушивала без возражений, ибо сама тоже грешила всякими фантазиями.

Именно в этот период, когда душа Ольги Палем была преисполнена счастьем, они посетили театр – новый для Одессы, строенный взамен сгоревшего. Здесь их увидел полицейский пристав Олег Чабанов (человек, кстати, очень порядочный). Хорошо извещенный в том, «кто есть кто», он любезно раскланялся перед нарядной цветущей женщиной:

– Как поживаете, Ольга Васильевна? Судя по радости на вашем лице, жизнь складывается так, что лучше и не надо.

Палем мановением руки указала ему на Довнара:

– Рекомендую – мой жених! Будущий Эйлер или Араго, а может быть, Боткин или Захарьин...

Впрочем, сам Довнар не пытался разрушить ее трепетных иллюзий, никогда не возражая против этого любовного «титула», каким Палем открыто награждала его в любом обществе, с большим желанием выдавая себя за «невесту» Довнара. Между ними возник случайный разговор:

- Саша, хочу тебя спросить... давно хочу.

- Ну?

- Когда ты на мне женишься? - спросила Ольга Палем.

- Глупенькая! - расхохотался Довнар. - Вот уж не ожидал такого наивного вопроса... Неужели сама не знаешь, что студентам жениться запрещено. На то мы и студенты, чтобы не связывать себя кастрюлями и пеленками...

Ольга Палем проверила: Довнар говорил правду.

Значит, ей суждено ждать и ждать, когда возлюбленный обретет диплом, и тогда она станет... знать бы - кем? Или женою учителя гимназии, или женою врача.

Ничего, она терпеливая - дождется светлого часа!

Между тем в эти же дни Довнар отыскал своего старого приятеля гимназических лет - Стефана Матеранского.

- Ты же знаешь, - взволнованно рассказывал он ему, - что до сих пор я тратился на женщин в доме Фанни Эдельгейм, что было весьма разорительно для моего кармана. Но теперь, ты не поверишь, я встретил пылкую, очень интересную женщину. Конечно, - глумливо хвастал Довнар, - она изображала недотрогу, умоляла пощадить ее невинность, но не на такого напала... Я свое с нее взял! Здорово, верно?

- Здорово, - согласился Матеранский. - Влюблен?

- Что ты! - отрицал Довнар с возмущением. - Стану ли я заниматься подобной лирикой? Но главное, что в этой женщине меня привлекает, так это ее полное бескорыстие...

Стефан Матеранский плотоядно потер руки.

- Это не женщина, а клад, - позавидовал он другу.

- Сущий клад! - подтвердил Довнар.

- Дай рубль... на пропитание.

- А когда вернешь?

- Ну как-нибудь, Сашка, мы же друзья... Кстати, может, ты меня познакомишь со своей «штучкой»?

- Заходи... Будем ты, я, можно позвать и поручика Шелейко. Живет она над нами, это очень удобно! Заодно убедитесь, что влюблена в меня, словно кошка. Ну что там эта Зойка Ермолина у Фанни Эдельгейм, которая в самый патетический момент продолжает жевать ириски! Зато у меня любовница - сущий Везувий, извергающий огненную лаву, именно так и погибла Помпея.

- Не погибни ты сам. Как дела-то твои?

Вопрос Матеранского был Довнару неприятен:

- С математикой плохо. Сам не ожидал, что я такой бестолковый. Думаю, надо податься в Петербург.

- Значит, и «штучку» свою прихватишь?

- Зачем? В столице и без нее много всяких и невсяких...

.....

Довнар принадлежал к той породе людей, которые свою копейку на благо ближнего не пожертвуют. Человек далеко не бедный, он свои деньжата нежно холил, как нищий торбу, и даже молодость, которой присуща безалаберность, когда хочется сорить деньгами, удивляя людей своей щедростью, даже эта легкомысленная пора жизни не отразилась на его кошельке.

Был серый и будний день, когда Довнар навестил Ольгу Палем – мрачный, поникший, озлобленный.

– В чем дело? – любовно встревожилась она.

– Стыдно говорить, – сознался Довнар, – но моих скромных познаний в математике хватило для того, чтобы уличить свою мамочку в подтасовке учета процентов. Поверь, мне это очень неприятно, но я проверил все биржевые бюллетени, выяснив, что она играла со мной на понижениях денежного курса. В результате мамулечка, словно прожженный биржевой делец, вписала в свой актив четыреста рублей, а я имел их в своем пассиве. Каково?

– Ужасно, – согласилась Ольга Палем.

– Конечно, я не глупец, чтобы прощать такое, – обозлился Довнар, – и после хорошего скандала я заставил мамочку вернуть мне эти деньги. Тут и слезы, тут и упреки... ах!

Ольга Палем задумалась, а задумалась она потому, что Вася-Вася Кандинский, какой бы он ни был, требовал только расписки в получении денег, но он даже не проверял ее расходов, и ей было дико, что родная мать способна обманывать сына.

– Извини, – сказала она, – я совсем не желала бы залезать в твой кошелек, но все-таки, как твоя будущая жена, хотела бы знать, каким состоянием ты располагаешь?

Спросила и тут же раскаялась в своем вопросе. Было видно, что Довнару совсем не хотелось посвящать ее в свои финансовые таинства. С явной неохотой, гримасничая, он признался, что держит в банке пятнадцать тысяч – под проценты.

– Это моя личная доля от наследства отца. С процентов я могу жить как рантье. А мамочка дает деньги под закладные, беря с должников по девять процентов годовых...

Женщина рассмеялась, а Довнар даже обиделся:

– Не понимаю, что тут смешного? Это ведь жизнь... Се ля ви, как говорят французы, лучше нас, диких славян, понимающие, как надобно жить и наслаждаться.

– Прости. Но мне твои рассуждения показались такими странными. Наверное, я большая невежда, если никак не пойму, что из денег можно делать еще деньги... Разве не так?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/pikul-_valentin/stupay-i-ne-greshi

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)